# Прощай!

# Оноре де Бальзак

Князю Фридриху Шварценбергу[[1]](#footnote-1).

— Ну, депутат центра[[2]](#footnote-2), пошевеливайся! Нужно прибавить шагу, если мы хотим вовремя попасть к обеду. Прыгай, маркиз! Вот так! Хорошо! Вы скачете, как настоящая серна!

Этими словами встретил своего спутника, уже давно, по-видимому, плутавшего в лесных зарослях, охотник, удобно расположившийся с гаванской сигарой на опушке леса в Иль-Адане.

Четыре тяжело дышавшие охотничьи собаки, лежащие у его ног, тоже глядели на того, к кому он обращался. Чтобы понять, сколько насмешки заключалось в этих поощрительных возгласах, нужно сказать, что заблудившийся охотник был коротенький, толстый человек с изрядным брюшком и дородностью, свидетельствовавшей о его принадлежности к судейскому сословию.

Он с трудом шагал по бороздам недавно сжатого поля, и жниво мешало ему идти; к тому же под отвесными лучами нещадно палящего солнца его лицо покрылось крупными каплями пота. Стремясь сохранить равновесие, он шел раскачиваясь и подпрыгивая, напоминая едущую по ухабам карету.

Стоял один из тех жарких сентябрьских дней, в тропическом зное которых дозревает виноград.

Все предвещало грозу. И хотя между черными тучами на горизонте виднелись еще голубые просветы, но рыжие облака стремительно неслись с запада на восток, оставляя за собой легкую сероватую завесу.

Ветер дул только в верхних слоях атмосферы, а в низинах скапливались горячие испарения земли.

Долина, которую пересекал охотник, была окружена высокими деревьями, они мешали доступу воздуха, и в ней было жарко, как в раскаленной печи. Притихший от зноя лес, казалось, изнемогал от жажды.

Птицы и насекомые словно замерли, лишь чуть колыхались верхушки деревьев. Те, кто хоть немного помнит лето 1819 года, должны посочувствовать страданиям несчастного служителя правосудия, который обливался потом, чтобы догнать своего насмешливого спутника. А тот, докуривая сигару, определил по солнцу, что время близится к пяти часам.

— Куда это нас черт занес? — сказал, вытирая лоб, толстый охотник, прислонившись вблизи от своего спутника к росшему в поле дереву; он почувствовал, что перепрыгнуть через разделяющую их канаву у него не хватит сил.

— И ты еще меня опрашиваешь? — возразил ему, смеясь, охотник, улегшийся на откосе среди высоких пожелтевших трав. — Клянусь святым Губертом, — воскликнул он, швырнув окурок сигары в канаву, — что не попадусь больше на удочку и не пойду блуждать по незнакомым местам с сановником, хотя бы он был подобно тебе, дорогой д'Альбон, моим старым школьным товарищем!

— Вы что, Филипп, очевидно, перестали понимать по-французски? Вы оставили в Сибири свой рассудок, — сказал толстяк, бросив трагикомический взгляд на стоявший в сотне шагов от них придорожный столб.

— Нет, понимаю, — отвечал Филипп; схватив ружье, он мигом вскочил, одним прыжком очутился на поле и помчался к столбу. — Ко мне, д'Альбон, ко мне! Полуоборот на-лево! — крикнул он своему приятелю, указывая рукой на широкую мощеную дорогу. — *Дорога из Байе в Иль-Адан*, — продолжал он, — значит, в этом направлении мы найдем и дорогу в Кассан, которая должна пересекать дорогу в Иль-Адан.

— Совершенно верно, полковник, — сказал д'Альбон, надевая кепи, которым он обмахивался.

— Ну, так вперед, уважаемый советник, — отвечал полковник Филипп, свистнув собак, которые, казалось, слушались его больше, чем своего хозяина-судью.

— Известно ли вам, господин маркиз, — продолжал подтрунивать полковник, — что нам осталось еще больше двух лье? Деревня, которая виднеется, вероятно, Байе.

— Господи, — воскликнул маркиз д'Альбон, — отправляйтесь в Кассан, если это вам приятно, но отправляйтесь туда один! Я же предпочту, несмотря на грозу, дождаться лошади, которую вы мне пришлете из замка. Вы вдоволь посмеялись надо мной, Сюси. Предполагалось, что мы немного поохотимся, не слишком удаляясь от Кассана, побродим по знакомым местам. А вместо того, чтобы поразвлечься, мне приходится по вашей милости, как борзой, носиться с четырех часов утра да еще вместо завтрака довольствоваться чашкой молока. Нет, если у вас когда-нибудь будет дело в суде, вы его у меня проиграете, будь вы хоть сто раз правы!

И, сняв ружье и пустой ягдташ, охотник с тяжелым вздохом опустился на камень у придорожного столба.

— Вот каковы твои депутаты, Франция! — смеясь, воскликнул полковник де Сюси. — Ах, бедный мой д'Альбон, если бы вы, подобно мне, провели шесть лет в дебрях Сибири...

Он замолчал, подняв взор к небу, точно несчастья его были известны лишь одному богу да ему самому.

— Ну, вперед! — добавил он. — Стоит вам тут засесть — вы пропали.

— Что же вы хотите, Филипп?! Заседать — неискоренимая привычка судей! Клянусь вам, я выбился из сил! И хоть одного бы зайца ухлопал!

Охотники являли собой довольно редкостный контраст. Служителю правосудия было сорок два года, а выглядел он не старше тридцати, тогда как тридцатилетнему воину можно было дать по меньшей мере лет сорок. Каждый из них был украшен красной ленточкой в петлице — знаком офицера ордена Почетного легиона. Несколько прядей черных с проседью волос, точно черное с белым крыло сороки, выбивалось из-под фуражки полковника; а у судьи были прекрасные белокурые кудри. Один был высокого роста, сухой, худощавый и нервный; морщины на его бледном лице свидетельствовали о жестоких страстях или тяжком горе; у другого был цветущий вид эпикурейца. Лица у обоих были покрыты загаром, а их высокие рыжие кожаные гетры носили на себе следы всех рытвин и болот, через которые им пришлось пробираться.

— Ну, — крикнул г-н де Сюси, — вперед! Какой-нибудь час ходьбы — и мы будем в Кассане за накрытым столом.

— Вы, верно, никогда не любили, — отвечал советник с комически жалким выражением лица, — вы беспощадны, как 304-я статья Уголовного кодекса[[3]](#footnote-3).

Филипп де Сюси сильно вздрогнул; его широкий лоб избороздили морщины, лицо потемнело, как небо над их головой. Бесконечно горькие воспоминания исказили все его черты, но глаза оставались сухими. Как и все сильные люди, он умел скрывать свои чувства и, подобно многим целомудренным натурам, считал, вероятно, нескромным обнажать свои раны, ибо не нашлось бы слов, чтобы выразить всю их глубину, к тому же он страшился насмешек людей, неспособных его понять. Г-н д'Альбон принадлежал к числу тех чутких натур, которые умеют угадывать чужие страдания и бывают огорчены, когда непроизвольно нанесут другому удар. Поэтому он не нарушил молчание друга и, позабыв о своей усталости, поднялся и последовал за ним, весьма опечаленный тем, что коснулся, очевидно, не зажившей еще раны.

— Когда-нибудь, мой друг, — сказал Филипп, пожав ему руку и полным отчаяния взглядом поблагодарив за немое раскаяние, — когда-нибудь я расскажу тебе свою жизнь. Но сегодня я не в силах.

Они молча продолжали путь. Когда судья заметил, что полковник успокоился, он снова вспомнил свою усталость; с инстинктом, или, вернее, с упорством, утомленного человека он старался проникнуть взглядом в глубину лесной чащи. Он всматривался в верхушки деревьев, приглядывался к тропинкам, надеясь обнаружить какое-нибудь жилье, где можно было бы попросить приюта. На одном из поворотов ему показалось, что он видит вьющийся между деревьев легкий дымок. Он остановился, стал пристально вглядываться и рассмотрел в густой чаще темно-зеленые ветви нескольких сосен.

— Дом! Дом! — закричал он радостно, как моряк кричит «Земля!» «Земля!».

Потом стремительно ринулся в лесную чащу, куда погруженный в думы полковник машинально за ним последовал.

— Лучше получить здесь яичницу, домашний хлеб и простую скамью, чем тащиться за диванами, трюфелями и бордоским вином в Кассан.

Эти восторженно прозвучавшие слова вырвались у советника, когда среди узловатых коричневых древесных стволов он разглядел белеющую вдали стену.

— Да это бывший монастырь! — вновь воскликнул маркиз д'Альбон, подходя к старинной почерневшей ограде, за которой в глубине обширного парка виднелось здание, построенное в том стиле, в каком строились когда-то монастыри. — Плуты-монахи умели выбрать местечко!

Этим новым восклицанием судья выразил свое восхищение поэтичностью обители, представшей перед его взорами. Она была построена на склоне горы, на вершине которой находится деревня Нервилль. Огромные вековые дубы, широким кольцом обступившие монастырь, усугубляли его уединенность. Часть здания, где помещались когда-то монахи, выходила на юг. Парк растянулся, по-видимому, арпанов на сорок.

Перед домом расстилался зеленый луг, красиво пересеченный несколькими прозрачными ручейками и живописно разбросанными водоемами, в которых не чувствовалось ничего искусственного. Там и сям зеленели разнообразные деревья причудливой формы. Искусно устроенные гроты, монументальные террасы с полуразрушенными лестницами и заржавевшими перилами придавали своеобразный вид этим диким фиваидам.

Ухищрения искусства присоединились здесь к живописнейшим эффектам природы. Казалось, человеческие страсти должны замереть у подножия огромных деревьев, которые оберегали этот приют как от мирского шума, так и от солнечного зноя.

«Какое запустение!» — подумал д'Альбон, любуясь суровой красотой, которую развалины придавали пейзажу, словно отмеченному каким-то проклятием. Это зловещее место, казалось, было покинуто людьми. Плющ протянул повсюду свои извилистые побеги, развесил свой роскошный плащ. Коричневый, зеленый, желтый и багряный мох живописными пятнами покрывал деревья, скамьи, крыши, камни. Оконные рамы были источены червями, разъедены дождем, изрыты временем; балконы обвалились, террасы были разрушены. Некоторые ставни держались на одном только навесе. Рассохшиеся двери едва ли могли оградить от нападения.

Вдали виднелись отягченные пучками блестящей омелы ветви одичавших и ставших бесплодными фруктовых деревьев. Аллеи поросли высокой травой. Эта заброшенность придавала поэтическое очарование всей картине и порождала мечтательность в душе зрителя. Поэт надолго замер бы перед ней, погрузившись в меланхолию, плененный таким художественным беспорядком, такой прелестью разрушения.

В этот миг несколько солнечных лучей, проскользнувших в просвет между тучами, заблистали тысячью красок, озарив полудикий пейзаж. Засверкала коричневая черепица, заблестел мох, на лужайках под деревьями заплясали фантастические тени; ожили мертвые краски, заиграли контрасты, четко вырисовывалась на свету листва. Но вдруг свет погас. И заговоривший было пейзаж умолк, снова стал темным или, вернее, тусклым, как самые тусклые тона осенних сумерек.

«Это замок Спящей красавицы, — подумал советник, который смотрел на дом так, словно уже купил его. — Кому бы он мог принадлежать? Нужно быть изрядным глупцом, чтобы не жить в таком чудесном поместье».

Внезапно из-под орехового дерева, росшего справа от решетчатых ворот, выскочила женщина и бесшумно, словно тень от облака, быстро скользнула мимо онемевшего от удивления советника.

— Что с вами, д'Альбон? — спросил у него полковник.

— Я тру себе глаза, чтобы узнать, сплю я или бодрствую, — отвечал судья, прильнув к решетчатым воротам, стараясь еще раз увидеть призрак. — Она, верно, под этой смоковницей, — сказал он Филиппу, указывая на листву дерева, подымавшегося над стеной слева от решетчатых ворот.

— Кто «она»?

— Ах! Разве я знаю? — отвечал д'Альбон. — Только что промелькнула какая-то странная женщина, — тихо сказал он. — Мне показалось, что она принадлежит скорее к царству теней, нежели к миру людей. Она так гибка, так легка и воздушна, что должна быть прозрачной. Лицо у нее молочной белизны. Одежда, глаза и волосы черные. На какое-то мгновение ее глаза остановились на мне, и хоть я не из пугливых, но от ее неподвижного и холодного взгляда у меня в жилах застыла кровь.

— Она красива? — спросил Филипп.

— Не знаю. Я видел только ее глаза.

— К черту Кассан с его обедом! — воскликнул полковник. — Останемся здесь. У меня ребяческое желание проникнуть в это странное поместье. Видишь эти выкрашенные в красный цвет оконные рамы и красные узоры на оконных и дверных наличниках? Не чудится ли тебе, что это — жилище дьявола? Он получил его, возможно, в наследство от монахов. Последуем за бледной дамой в черном! Вперед! — воскликнул Филипп с деланной беззаботностью.

В этот миг охотники услыхали какой-то звук, похожий на писк попавшейся в мышеловку мыши. Они прислушались: лишь легкий шелест листьев кустарника, задетых кем-то в тишине, подобный шепоту набежавшей волны. Но как они ни напрягали слух, чтобы уловить еще какой-нибудь шорох, земля безмолвствовала, не выдавая шагов незнакомки, если там проскользнула действительно она.

— Как это странно! — воскликнул Филипп, шагая вдоль окружавшей парк стены.

Оба друга пришли вскоре к лесной тропе, ведущей в деревню Шаври. Пройдя этой тропой до дороги в Париж, они оказались перед решетчатой оградой и увидали главный фасад таинственного здания. Запустение достигло здесь крайних пределов.

Гигантские трещины избороздили стены построенного прямоугольником здания. Груды осколков черепицы и шифер, валявшиеся на земле, разрушенные крыши — все говорило о полной заброшенности. Упавшие плоды гнили под деревьями, и никто их не подбирал. Топча газоны, цветы на клумбах, паслась корова, а коза общипывала с лозы зеленый еще виноград и листья.

— Здесь все гармонично, и самое запустение едва ли не умышленно, — заметил полковник, дернув цепочку колокольчика; но язычка в колокольчике не оказалось.

Охотники услышали лишь резкий скрип заржавевшей пружины. Маленькая дверь, проделанная в стене рядом с воротами, хотя и была старой, но их усилиям, однако, не поддавалась.

— О! Все это становится крайне загадочным, — сказал Филипп.

— Не будь я судьей, я принял бы женщину в черном за колдунью.

Едва успел он произнести эти слова, как к решетчатой ограде подошла корова и просунула к ним свою теплую морду, словно она почувствовала потребность поглядеть на человеческие существа. Но какая-то женщина, если только можно было так назвать то непонятное существо, что вынырнуло из-за густого кустарника, потянула корову за веревку. Голова женщины была повязана красным платком, из-под которого выбивались пряди светлых, похожих на паклю волос. Косынки на плечах у нее не было. Грубая шерстяная юбка в белых и черных полосах была на несколько вершков короче, чем следует, и позволяла видеть икры. Можно было подумать, что женщина эта принадлежит к какому-нибудь племени краснокожих, воспетых Купером, ибо ее ноги, шея и обнаженные руки казались выкрашенными в кирпичный цвет. В ее плоском лице не было ни следа осмысленности. Тусклые, водянистые глаза глядели безжизненно. Несколько редких белесых волосков заменяли ей брови. Неправильно очерченный рот открывал выдававшиеся вперед, неровные, но белые, как у собаки, зубы.

— Эй, тетка! — окликнул ее де Сюси.

Она медленно подошла к воротам, тупо разглядывая обоих охотников. На губах ее появилась жалкая, принужденная улыбка.

— Куда мы попали? Что это за дом? Кому он принадлежит? Кто вы такая? Вы здешняя?

На все эти и множество других вопросов, которыми наперебой засыпали ее оба охотника, она отвечала лишь какими-то гортанными звуками, более свойственными, казалось бы, животному, чем человеческому существу.

— Вы разве не видите, что она глухонемая! — сказал судья.

— Обитель «Добрых Братьев»! — выкрикнула вдруг крестьянка.

— А ведь она права! Это и впрямь, должно быть, бывший монастырь «Добрых Братьев», — сказал д'Альбон.

Снова посыпались вопросы. Но крестьянка, точно упрямый ребенок, болтала ногой, обутой в деревянный башмак, теребила веревку, которой была привязана корова, принявшаяся снова щипать траву; поглядывая на обоих охотников, женщина с любопытством рассматривала все принадлежности их костюма; потом она как-то странно заурчала, завизжала, закудахтала, так и не произнеся членораздельного слова.

— Как тебя зовут? — спросил Филипп, глядя на нее пристально, словно хотел ее заворожить.

— Женевьева, — глупо ухмыляясь, отвечала она.

— Корова — пока разумнейшее существо из всех, кого мы здесь встретили! — воскликнул судья. — Я выстрелю из ружья, чтобы к нам кто-нибудь вышел.

Но не успел судья взяться за ружье, как полковник жестом остановил его, указав пальцем на незнакомку, которая так живо возбудила их любопытство. Погруженная, казалось, в глубокую задумчивость, она медленными шагами приближалась к ним по длинной аллее, так что они имели возможность хорошо ее рассмотреть. На ней было сильно поношенное черное шелковое платье. Длинные волосы густыми прядями падали ей на лоб и на плечи, спускались ниже талии, окутывая ее точно шалью. Она, видимо, привыкла к этому и лишь изредка откидывала их назад, резко встряхивая головой и разом освобождая глаза или лоб от густой завесы. В ее жесте была какая-то поразительная, чисто механическая быстрота и точность, свойственная движениям животного и казавшаяся чем-то необычным в женщине.

Охотники с изумлением смотрели на то, как она, подпрыгнув, взобралась на ветку яблони и легко, точно птица, уселась на ней. Сорвав несколько плодов, она съела их. Потом с той мягкой грацией, которая восхищает нас в белке, она спрыгнула на землю. Ее тело наделено было такой гибкостью, что ни в одном из ее движений не было и следа принужденности или усилия. Она порезвилась на лужайке, как ребенок, катаясь в траве, потом, вытянув руки и ноги, неподвижно замерла с грацией и безмятежностью уснувшего на солнце котенка. Издалека донеслись раскаты грома; она перевернулась и разом вскочила на четвереньки с проворством собаки, заслышавшей чьи-то шаги. Когда она приняла эту странную позу, ее черные волосы разошлись посредине и двумя широкими волнами рассыпались по сторонам лица; свидетели этой сцены могли любоваться плечами, сверкнувшими белизной полевых маргариток, и шеей, совершенные линии которой позволяли догадываться о гармоничности всего тела.

Болезненно вскрикнув, она вскочила на ноги. Ее движения были так грациозны и легки, что она скорее могла сойти за одну из воспетых Оссианом дочерей воздуха[[4]](#footnote-4), чем за человеческое существо. Она подошла к водоему, стряхнула с ноги башмак и погрузила с явным удовольствием белую, как алебастр ногу в воду, любуясь засверкавшей, точно драгоценные камни, рябью. Потом, опустившись на колени на краю бассейна, точно дитя, стала забавляться, то погружая в него свои кудри, то разом их вытаскивая и следя за тем, как жемчужными четками, капля за каплей стекала с них вода.

— Это безумная! — воскликнул советник.

Хриплый возглас Женевьевы, обращенный, по-видимому, к незнакомке, заставил ее разом выпрямиться и отбросить с лица волосы. Полковник и д'Альбон в этот момент хорошо могли разглядеть черты ее лица; заметив обоих приятелей, она с легкостью серны очутилась в несколько прыжков подле ограды.

— *Прощай!* — сказала она нежно и певуче, но в этом голосе, звук которого так хотелось услышать охотникам, не было ни признака мысли, ни чувства.

Господин д'Альбон восхищенно рассматривал ее длинные ресницы, ее густые черные брови, ослепительно белую кожу без малейшего налета румянца, сквозь которую просвечивали только тоненькие голубые жилки. Когда советник, пораженный ее странным видом, повернулся к приятелю, чтобы поделиться с ним своим недоумением, — он нашел его безжизненно распростертым на траве. Г-н д'Альбон крикнул: *«На помощь!»* — и, выстрелив в воздух, бросился к полковнику, стараясь его поднять. При звуке выстрела неподвижно стоявшая незнакомка испуганно вскрикнула, точно раненое животное, стрелою бросилась прочь и в глубочайшем ужасе заметалась по лужайке. Г-н д'Альбон, заслышав стук колес на дороге в Иль-Адан, стал махать платком, призывая на помощь. Экипаж тотчас же свернул к «Добрым Братьям»; советник узнал своих соседей, г-на и г-жу де Гранвиль; они тут же вышли из коляски и предложили ее судье. У г-жи де Гранвиль оказался с собою случайно флакон с солью, которую дали понюхать г-ну де Сюси.

Когда полковник открыл глаза, взгляд его тотчас же обратился в сторону лужайки, где продолжала кричать и метаться незнакомка; какой-то невнятный, но полный ужаса возглас вырвался у него. Потом он снова закрыл глаза и сделал умоляющий жест, словно прося своего друга избавить его от этого зрелища. Г-н и г-жа де Гранвиль любезно предоставили свою коляску в полное распоряжение судьи, заявив ему, что будут продолжать свою прогулку пешком.

— Кто эта дама? — указывая на незнакомку, спросил судья.

— Говорят, что она приехала из Мулена, — отвечал г-н де Гранвиль. — Зовут ее графиней де Вандьер, и ходят слухи, что она безумна; но так как она здесь всего лишь около двух месяцев, я не поручусь вам за достоверность этих слухов.

Господин д'Альбон поблагодарил г-на и г-жу де Гранвиль и поехал в Кассан.

— Это она! — воскликнул Филипп, придя в чувство.

— Кто «она»? — спросил д'Альбон.

— Стефани. Мертвая и воскресшая, воскресшая и безумная! Я думал, что умру...

Деликатный судья понял, что его друг оказался во власти какого-то тяжелого душевного потрясения, и поэтому не стал волновать его расспросами; он хотел только как можно скорей добраться до замка: лицо полковника осунулось, весь он как-то странно изменился, и у д'Альбона зародилось опасение, не передался ли Филиппу ужасный недуг графини. Как только коляска достигла Иль-Адана, он послал слуг за городским врачом, и, когда полковника уложили в постель, доктор уже находился при нем.

— Если бы это случилось с господином полковником не натощак, — сказал врач, — он мог бы поплатиться жизнью.

Дав необходимые предписания, врач ушел, чтобы собственноручно приготовить лекарства. Наутро г-ну де Сюси стало лучше, но врач счел все же нужным остаться при нем.

— Должен признаться, господин маркиз, — сказал он, — что я опасался мозговых явлений. Г-н де Сюси перенес жестокое потрясение. Его страдания не прошли, но решающим был первый момент. Завтра он, быть может, будет уже вне опасности.

Врач не ошибся, и уже назавтра он разрешил судье повидать друга.

— Дорогой д'Альбон, — сказал Филипп, схватив его за руку, — я жду от тебя услуги! Отправляйся немедленно к «Добрым Братьям». Разузнай обо всем, что касается дамы, которую мы там видели, и возвращайся поскорей обратно; я буду считать минуты...

Господин д'Альбон вскочил на коня и поскакал в бывшее аббатство. Прибыв туда, он подле ограды увидел высокого сухощавого человека с приветливым лицом, который на вопрос судьи, не является ли он обитателем этого полуразрушенного дома, ответил утвердительно. Г-н д'Альбон изложил ему цель своего посещения.

— Как, сударь! Так это дело ваших рук — тот роковой выстрел? Вы чуть было не убили мою бедную больную.

— Помилуйте! Ведь я стрелял в воздух.

— Вы причинили бы меньше зла графине, если бы попали в нее.

— Ну, значит, мы квиты, так как вид вашей графини чуть было не убил моего друга г-на де Сюси.

— Какого де Сюси? Уж не барона ли Филиппа де Сюси? — воскликнул, всплеснув руками, врач. — Того самого, который был в России при переправе через Березину?

— Да, — отвечал д'Альбон, — он был взят казаками в плен и отправлен в Сибирь, откуда вернулся около года назад.

— Прошу вас, сударь, — сказал незнакомец, введя судью в расположенную на первом этаже дома гостиную, где все носило следы какого-то причудливого опустошения.

Рядом с разбитыми дорогими фарфоровыми вазами стояли уцелевшие часы. Штофные портьеры на окнах были разодраны, тогда как муслиновые гардины оставались целы.

— Видите, — сказал незнакомец г-ну д'Альбону, — какой разгром производит очаровательное существо, которому я посвящаю свою жизнь. Это моя племянница, и хотя наука, которой я служу, бессильна, я все же надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся вернуть ей разум, пользуясь методом, доступным, к сожалению, лишь очень богатым людям.

Потом, как все, кто долго прожил в одиночестве, находясь во власти непрерывных страданий, он приступил к обстоятельному повествованию. Вот этот рассказ в связном виде, освобожденный от многочисленных отступлений, в которых повинен был как сам рассказчик, так и судья.

Покидая около 9 часов вечера высоты Студянки, маршал Виктор, удерживавший их весь день 28 ноября 1812 года, оставил там около тысячи солдат, приказав им защищать до последней капли крови единственно уцелевший мост через Березину. Этот арьергард самоотверженно пытался спасти великое множество окоченевших от холода отставших солдат, упорно не хотевших расстаться с обозом. Но героизму отважной горстки людей суждено было остаться бесплодным.

Солдаты, массами хлынувшие к Березине, находили там, на свою беду, огромное количество повозок, фур и разного имущества, которое армия была вынуждена бросить во время переправы 27 и 28 ноября. Получив в наследство неожиданные богатства, эти несчастные, отупевшие от холода, устраивались на опустевших бивуаках, ломали военное снаряжение, чтобы построить себе шалаши, разводили костры из всего, что попадалось им под руку, резали лошадей, чтобы насытиться, сдирали с повозок сукно и холст, чтобы укрыться, и спали, вместо того, чтобы продолжать свой путь и переправиться ночью через Березину, которая волею непостижимой судьбы оказалась уже столь роковой для армии.

Апатия злосчастных солдат может быть понятна лишь тому, кто сам помнит переход по безграничным снежным пустыням, где впереди за горизонтом только снег, где нет иного питья, кроме снега, нет иной постели, кроме снега, нет иной пищи, кроме снега и нескольких мороженых свекол, нескольких пригоршней муки или конского мяса. Умирая от голода, жажды, усталости, засыпая на ходу, несчастные попадали на берег реки, где находили топливо и огонь, пищу, множество брошенных повозок, бивуаки — словом, целый импровизированный город.

Деревня Студянка была разнесена в щепы, сметена с возвышенности в низину. Но каким бы гиблым и жалким ни было это местечко, опасности и лишения, которые сулило пребывание в нем, казались желанными людям, ничего перед собой не видевшим, кроме страшных просторов России. Словом, все это походило на огромный госпиталь, возникший лишь сутки назад. Измученной тяготами войны, а быть может, и почувствовавшей блаженство неожиданной передышки толпе этой стала совершенно недоступна какая-либо иная мысль, кроме мысли об отдыхе.

Артиллерия левого крыла русских войск беспрерывно обстреливала эту человеческую массу, выделявшуюся среди снегов то в озарении пламени костров, то чернеющим пятном. Эти непрерывно летящие ядра казались окоченевшей толпе еще одним лишним неудобством, точно гроза, на молнии которой никто не обращает внимания, ибо молнии могут попасть случайно только в кого-нибудь из больных, умирающих или мертвых. С каждой минутой подходили все новые толпы отставших. Похожие на бродячие трупы, они тут же рассеивались и, переходя от костра к костру, выпрашивали себе местечко, но, получив чаще всего отказ, объединялись снова, чтобы силой добиться приюта.

Они были глухи к голосу нескольких офицеров, предрекавших им назавтра смерть, и тратили свои силы, необходимые для переправы через реку, на устройство пристанища на ночь, на добывание еды, от которой нередко гибли. Подстерегавшая смерть не пугала их — лишь бы можно было часок поспать. Пугали их только голод, жажда и холод. Когда не стало хватать уже ни костров, ни топлива, ни пристанища, между теми, кто был лишен всяких благ, и счастливцами, обладателями приюта, начались жестокие схватки. Слабейшие гибли. Наступило наконец время, когда вновь прибывшие солдаты, бежавшие от русских, не найдя другого пристанища, кроме снега, легли, где стояли, чтобы никогда уже больше не подняться. Вся эта масса полумертвых, сбившихся в кучу существ впала в такое отупение, а быть может, в блаженное состояние, что маршалу Виктору, героическому защитнику, сдерживавшему наступление двадцати тысяч русских под командой Витгенштейна, силой пришлось прокладывать себе дорогу сквозь людскую гущу, чтобы переправить через Березину пять тысяч храбрецов, которых он вел к императору. Несчастные предпочитали быть раздавленными, только бы не трогаться с места, и безропотно гибли, зачарованные огнями своих угасающих костров, позабыв о Франции.

Герцог Белюнский лишь в 10 часов вечера переправился через реку. Прежде чем вступить на мосты, ведшие в Зембин, он вручил судьбу арьергарда Студянки Эбле — спасителю всех, кто уцелел при катастрофе у Березины.

Было около полуночи, когда этот выдающийся генерал в сопровождении доблестного офицера вышел из хижины, находившейся вблизи моста, и стал обозревать лагерь, раскинувшийся между берегом Березины и дорогой из Борисова в Студянку. Гром русских пушек смолк. Бесчисленные огни, казавшиеся бледными и тусклыми среди снежных сугробов, то тут, то там выхватывали из мрака лица, в которых не сохранилось ничего человеческого. Здесь было около тридцати тысяч несчастных — представителей всех наций, брошенных Наполеоном против России, и они с тупым равнодушием подвергали риску свою жизнь.

— Спасем их, — сказал генерал офицеру. — Завтра утром русские возьмут Студянку. Необходимо поджечь мост в тот самый миг, когда они покажутся. Итак, соберись с духом, мой друг; нужно отправиться на возвышенность и передать генералу Фурнье, что у него едва хватит времени оставить свои позиции, пробиться через толпу и перейти мост. Когда ты увидишь, что он двинулся в путь, ты за ним последуешь. Возьми нескольких солдат покрепче и, ничего не щадя, подожги весь этот лагерь со всеми повозками, фурами, экипажами — все! Гони эту толпу к мосту. Заставь всех, у кого целы еще ноги, перебраться на тот берег. Огонь — сейчас наш последний шанс на спасение. Если бы Бертье не помешал мне уничтожить эти проклятые повозки, река поглотила бы только наших бедных саперов — пятьдесят храбрецов, спасших армию, имена которых будут забыты.

Генерал прикрыл глаза рукой и умолк. Он словно чуял, что Польша станет для него могилой и ни единый голос не прозвучит в похвалу героям, остававшимся в воде — в воде Березины! — чтобы потопить в ней сваи мостов. Лишь один из них живет еще, или, вернее, мучается, позабытый всеми где-то в глуши.

Адъютант отправился в путь. Он не успел еще сделать и ста шагов к Студянке, как генерал Эбле разбудил нескольких из своих больных саперов и приступил к выполнению акта человеколюбия: поджег бивуаки, разбитые подле моста, заставив, таким образом, всех, кто там спал, перейти через Березину. Молодой адъютант тем временем добрался до единственного уцелевшего в Студянке деревянного строения.

— Лачуга, верно, битком набита, приятель, — обратился он к находившемуся подле дома человеку.

— Вы покажете себя искусным воякой, если сумеете туда проникнуть, — отвечал офицер, не оборачиваясь и продолжая стесывать саблей щепки со стен строения.

— Это вы, Филипп? — спросил адъютант, узнав по голосу одного из своих друзей.

— Я. А-а, это ты, старина! — отвечал г-н де Сюси, вглядываясь в адъютанта, которому, как и ему самому, было никак не больше 23 лет. — А я-то думал, что ты по ту сторону этой проклятой реки. Ты что же, принес нам пирожных и варенья к десерту? Ты будешь принят с распростертыми объятиями, — прибавил он, продолжая отдирать древесную кору, служившую кормом для его лошади.

— Я ищу вашего командира, я должен ему передать от имени генерала Эбле, что нужно отходить к Зембину. У вас едва хватит времени пробиться через это сонмище трупов, которые я сейчас подожгу, чтобы сдвинуть их с места.

— Ты почти согрел меня! От твоей новости меня бросило в пот. Я должен спасти двух друзей. О! Если бы не эти два существа, меня давным-давно бы уже не было в живых! Из-за них я вожусь со своей лошадью, вместо того чтобы съесть ее. Бога ради, нет ли у тебя хоть корочки хлеба? Я больше суток и крошки во рту не имел, а ведь я дрался, как бешеный, стараясь сохранить в себе отвагу и мужество.

— Бедняга Филипп! Нет, ничего решительно нет! Но генерал ваш там?

— И не пытайся войти! В этом сарае наши раненые. Подымись еще выше, там с правой стороны ты увидишь нечто вроде свиного закута; генерал там. Прощай, дружище! Если нам когда-нибудь придется еще танцевать кадриль на паркете Парижа...

Он не докончил: в этот момент налетел такой предательский порыв ветра, что адъютант, чтобы не замерзнуть, стал шагать взад и вперед, а у майора Филиппа застыли губы. Воцарилось молчание.

Оно нарушалось лишь доносившимися из дома стонами да громким хрустом — это лошадь г-на де Сюси грызла с голоду мерзлую кору, яростно отдирая ее от стен бревенчатой постройки. Майор вложил саблю в ножны, схватил под уздцы драгоценное животное, которое он сумел сохранить, и насильно оторвал его от жалкого корма, пришедшегося ему, очевидно, по вкусу.

— Трогай, Бишетт! Трогай! Одна ты, красотка, можешь спасти Стефани. А потом можно будет и успокоиться — скорей всего навсегда.

Филипп запахнул шубу — она ему сохранила жизнь и энергию — и побежал, притопывая ногами по твердому снегу, чтобы согреться. Он не сделал и пятисот шагов, как увидал вдруг большое пламя на том самом месте, где утром оставил под охраной старого солдата свою карету. Ужасная тревога охватила его. Как и все, кто во время этого беспорядочного бегства действовал под влиянием аффекта, он, чтобы помочь друзьям, нашел в себе силы, которых не хватило бы, если бы дело касалось его одного. Вскоре он был уже в нескольких шагах от той выемки, образованной неровностью почвы, где он оставил, чтобы уберечь от пушечных ядер, молодую женщину, подругу детства, — драгоценнейшее свое сокровище.

В нескольких шагах от экипажа человек тридцать отставших солдат столпились перед огромным костром, который они поддерживали, бросая в него доски, верхи фур, колеса, филенки и сиденья карет. Они, вероятно, пришли последними из тех, кто наводнил океаном голов, огней и бараков пространство между оврагом, пересекающим местность у подножия Студянки, и роковой рекой, — живое море, колеблемое еле заметными течениями, над которым стоял гул, заглушаемый порой грохотом ужасных взрывов.

Движимые, по-видимому, отчаянием и голодом, эти несчастные силой вломились в карету. Старик-генерал и молодая женщина, которые раньше лежали там на грудах тряпья, укутанные в плащи и шубы, сидели теперь на корточках подле огня. Одна из дверец кареты была выбита.

Когда столпившиеся вокруг костра солдаты заслышали стук копыт и шаги майора, яростный голодный вопль пронесся над толпой.

— Лошадь! Лошадь!

Все голоса слились в один.

— Отойди! Берегись! — закричали двое или трое солдат, целясь в лошадь.

Филипп заслонил ее собою.

— Мерзавцы! — крикнул он в ответ. — Я побросаю всех вас в костер! Мало там, наверху, есть павших коней! Отправляйтесь за ними!

— Что он дурака валяет, этот офицер! Раз, два! Ну-ка пошевеливайся! — закричал огромный гренадер. — Не желаешь? Как угодно!

Женский крик заглушил звук раздавшегося выстрела, пуля не задела, к счастью, Филиппа, но смертельно раненная Бишетт рухнула на землю; трое солдат набросились на нее и прикончили ударами штыка.

— Дикари! Отдайте мое одеяло и пистолеты! — с отчаянием закричал Филипп.

— Пистолеты еще куда ни шло, — сказал гренадер, — а насчет одеяла — так вот пехотинец, у которого целых два дня не было ни *крошки в чемодане* и который стучит зубами в подбитой ветром одежонке. Это наш генерал.

При виде человека в разваливающихся сапогах, изодранных штанах и в заиндевевшей жиденькой шапчонке Филипп умолк. Он поспешил забрать свои пистолеты. Пятеро солдат потащили лошадь к огню и не хуже парижских мясников начали свежевать тушу. Затем мгновенно расхваченные куски полетели на угли.

Майор направился к женщине, отчаянно вскрикнувшей при его появлении. Она неподвижно сидела на подушке кареты и грелась; она молча, без улыбки поглядела на него. Тут только Филипп заметил солдата, которому поручил охранять карету; бедняга был ранен.

Он подчинился, уступая численному превосходству набросившихся на него солдат, но, как пес, защищавший до последней минуты хозяйский обед, взял потом свою часть добычи: соорудил себе из белого сукна какое-то подобие плаща. Теперь он был занят тем, что поджаривал кусок конины, и майор видел, как радостно сияло его лицо в предвкушении готовящегося пиршества. Граф де Вандьер вот уже три дня словно впал в детство; он сидел подле жены на подушках кареты и пристально смотрел на пламя костра, жар которого начал выводить его из оцепенения. Прибытие Филиппа, опасность, ему угрожавшая, взволновали его не больше, чем схватка, в результате которой была разграблена карета.

Де Сюси сжал руку молодой графини, желая тем самым выразить всю скорбь, какую он испытывает, видя ее в такой беде; но потом, молча усевшись подле нее на груде тающего снега, он сам поддался блаженному ощущению тепла, забыв об опасности, забыв обо всем на свете. На лице его появилось выражение бессмысленной радости, и он с нетерпением дожидался, чтобы поджарился кусок конины, доставшийся его вестовому. Запах горелого мяса пробудил в нем голод, а голод заставил замолчать его сердце, его мужество, его любовь.

Без гнева глядел он на свою разграбленную карету. Все сидевшие вокруг костра поделили между собой одеяла, подушки, шубы, мужское и женское платье, принадлежавшие графу, графине и майору. Филипп повернулся, чтобы посмотреть, не годится ли на что-нибудь еще кузов кареты. При свете костра он увидал рассыпанное золото, серебро, бриллианты, — никому и в голову не пришло взять хотя бы что-либо себе.

Люди, которых случай свел вокруг этого костра, угрюмо хранили молчание и делали лишь то, что спасало от немедленной гибели.

В картине этих бедствий было нечто уродливо-карикатурное. Опухшие от холода лица, как маской, покрылись слоем грязи, и слезы, стекавшие по щекам, оставляли борозду, по которой можно было судить о толщине этого слоя. Всклокоченные бороды придавали лицам еще более отталкивающий вид. Иные кутались в женские шали, на других были лошадиные чепраки, грязные одеяла, промокшие от тающего инея лохмотья; у некоторых одна нога была в сапоге, на другой был башмак; в одежде у каждого была какая-нибудь несуразность. Но те, кто глядел на это нелепое зрелище, оставались по-прежнему серьезны и мрачны.

Тишина нарушалась лишь легким потрескиванием пламени, далекими отголосками боя да лязгом сабель, которыми наиболее изголодавшиеся отрубали себе от Бишетт кусок получше.

Особенно обессилевшие подчас засыпали, и, если иной из них сваливался в костер, никто и не думал подымать его. Эти люди наделены были железной логикой и полагали, что, если он еще не умер, ожог научит его отыскивать более подходящее место для сна. Если же несчастный, очнувшись на костре, погибал, он ни в ком не вызывал жалости. Солдаты поглядывали друг на друга, как бы ища в равнодушии окружающих оправдания собственной бесчувственности. Молодая графиня, наблюдавшая эту картину, также оставалась безучастной. Когда поджаривавшиеся на углях куски конины были готовы, каждый утолил свой голод с прожорливостью, которая кажется отвратительной даже в животных.

— Вот так штука! На одного коня тридцать человек, да еще пехотинцев! — крикнул гренадер, подстреливший лошадь.

Эта шутка была единственным проявлением национального остроумия.

Вскоре большинство измученных солдат, закутавшись в одежду, примостились на досках, на всем, что могло предохранить их от соприкосновения со снегом, и, не заботясь о завтрашнем дне, уснули. Майор согрелся, утолил голод, и веки его отяжелели от непреодолимого желания уснуть. В короткий промежуток времени, пока он боролся со сном, он смотрел на молодую женщину, которая также собиралась заснуть, повернувшись лицом к огню; видны были ее закрытые глаза и часть лба; она завернулась в меховую шубу и в плотный драгунский плащ; голова ее лежала на запятнанной кровью подушке; меховой капор, поверх которого был надет завязанный под подбородком платок, предохранял, насколько возможно, ее лицо от мороза; ноги она спрятала под плащ. Так, свернувшись клубочком, она, право же, казалась совсем жалкой. Была ли то последняя из маркитанток? Была ли то очаровательная женщина — гордость любовника, царица парижских балов? Увы! Взор преданнейшего из ее друзей не мог обнаружить ничего женственного в этой груде одежд и тряпок. Под действием холода любовь угасла в ее сердце.

Сквозь густую пелену, которой непобедимый сон застилал глаза майора, муж и жена казались ему просто двумя точками. Пламя костра, распростертые тела, жестокий мороз, свирепствовавший в трех шагах от ненадежного тепла, — все это представлялось просто сном. Филиппа преследовала навязчивая мысль: «Если я усну, мы погибли, — твердил он себе. — Я не должен спать!» Он уснул. Через час он был разбужен отчаянными криками и грохотом. Сердце его сжалось при мысли о той опасности, в которой находилась его возлюбленная, в нем заговорило чувство долга. У него вырвался вопль, подобный рычанию. Только он и его вестовой вскочили на ноги. Они увидали море огня, пожиравшее бивуаки и хижины; на фоне его в ночной тьме вырисовывалась людская толпа; до них доносились крики и вопли тысячи отчаявшихся человеческих существ с искаженными лицами. Среди этого ада между двух рядов трупов прокладывала себе дорогу к мосту колонна войск.

— Это отступает наш арьергард! — воскликнул майор. — Надежды больше нет.

— Я пощадил вашу карету, Филипп, — произнес дружеский голос.

Обернувшись, де Сюси узнал при свете пламени молодого адъютанта.

— Все погибло, — отвечал майор. — Они съели мою лошадь. Да к тому же как смогу я заставить идти слабоумного генерала и его жену?

— Схватите горящую головню и угрожайте ею.

— Угрожать графине!

— Прощайте! — крикнул адъютант. — Я едва успею перебраться через эту проклятую реку, а это мой долг: у меня мать во Франции! Какая ночь! Толпа готова погибнуть в снегу, и большинство этих несчастных скорее позволят сжечь себя, чем встанут на ноги. Теперь четыре часа, Филипп. Через два часа русские зашевелятся. Уверяю вас, что вы еще раз увидите, как Березина покроется трупами. Подумайте о себе, Филипп! Лошадей у вас нет, не можете же вы нести графиню; так вперед, идем со мной! — воскликнул он, хватая майора за руку.

— Как, друг мой, бросить Стефани!

Майор схватил графиню, поставил ее на ноги и стал грубо трясти ее, как доведенный до отчаяния человек, покамест она не проснулась. Открыв глаза, она поглядела на него остановившимся мертвенным взглядом.

— Нужно идти, Стефани, или мы погибли!

Вместо ответа графиня попыталась опуститься на снег, чтобы снова уснуть. Адъютант выхватил пылающую головню и помахал ею перед лицом Стефани.

— Нужно насильно спасти ее! — крикнул Филипп, подняв графиню и потащив ее в карету.

Возвратившись, он стал умолять друга о помощи. Они подхватили вдвоем старика генерала, не зная, жив ли он или умер, и посадили его рядом с женой. Растолкав ногой спящих на земле солдат, майор отнял у них награбленное, навалил все эти вещи на обоих супругов, бросил в угол кареты несколько кусков жареной конины.

— Что это вы надумали делать? — спросил у него адъютант.

— Везти ее, — отвечал майор.

— Вы с ума сошли!

— Вы правы! — сказал Филипп, скрестив руки на груди. Но вдруг словно какая-то мысль, подсказанная отчаянием, осенила его.

— Слушай, — обратился он к своему вестовому, схватив его за здоровую руку, — я поручаю тебе графиню на час. Умри, но не подпускай никого к карете, слышишь?

Майор подобрал бриллианты графини и, держа их в одной руке, другой схватил саблю и стал бешено колотить ею тех спящих, в ком, как казалось ему, еще сохранилась отвага; ему удалось разбудить великана-гренадера и еще двух-трех человек — распознать их чины не представлялось никакой возможности.

— Мы пропали, — сказал он им

— Сам прекрасно знаю, — отвечал гренадер, — да мне-то все равно!

— Послушай! Двум смертям не бывать, а одной не миновать; так не лучше ли тогда отдать жизнь за красивую женщину и попытаться снова увидеть Францию?

— По мне так лучше спать, — сказал один из солдат, валясь опять в снег, — и если ты, майор, еще будешь ко мне приставать, я всажу тебе в брюхо тесак.

— В чем дело, командир? — спросил гренадер. — Он пьян. Это парижанин, а они любят удобства.

— Это достанется тебе, бравый гренадер, если ты пойдешь со мной и будешь драться, как бешеный! — воскликнул майор, показав ему бриллиантовое ожерелье. — Русские в десяти минутах отсюда; у них есть лошади; мы нападем на передовую их батарею и уведем пару лошадок.

— А часовые, майор?

— Кто-нибудь из нас троих... — начал майор, потом, запнувшись, посмотрел на адъютанта. — Ведь вы пойдете с нами, Ипполит, не правда ли?

Адъютант утвердительно кивнул головой.

— Кто-нибудь из нас, — продолжал майор, — займется часовым. Они ведь тоже спят, эти проклятые русские.

— Ну и молодчина же ты, майор! А возьмешь меня потом в свою карету?

— Да, если ты не сложишь там, наверху, своих костей. А если погибну я, — сказал майор, обращаясь к обоим своим спутникам, — обещайте мне, Ипполит, и ты, гренадер, что вы сами позаботитесь о спасении графини.

— Ладно! — крикнул гренадер.

Они двинулись к стоянке русских войск, к батареям, так безжалостно истреблявшим толпы несчастных, улегшихся на берегу реки. Вскоре послышался топот двух скачущих по снегу лошадей, а проснувшаяся батарея стала залпами посылать ядра, проносившиеся над головами спящих. Топот копыт был таким частым, что казалось, это кузнецы куют подкову. Храбрый адъютант погиб. Но дюжий гренадер был цел и невредим. А Филипп, сражавшийся за свою возлюбленную, был ранен штыком в плечо. Ему удалось все же уцепиться за конскую гриву и так крепко сжать шенкелями бока лошади, что она очутилась точно в тисках.

— Слава богу! — воскликнул майор, застав вестового все в той же позе, а карету на месте.

— По чести говоря, командир, вы должны были бы представить меня к кресту! Ну и здорово же мы поработали саблями!

— Ничего еще пока не сделано. Запряжем-ка лошадей. Вот веревки.

— Их мало!

— А вы, гренадер, возьмитесь за спящих. Заберите у них шали, белье.

— Вот тебе раз! Да ведь он помер, чудак! — воскликнул гренадер, стаскивая одежду с первого же солдата, к которому подошел. — Э! Да тут ни одного в живых не осталось!

— Неужто ни одного?

— Да, все мертвы. Видно, конина со снегом вредна для желудка.

От этих слов Филиппа бросило в дрожь. Мороз крепчал.

— Боже! Потерять женщину, которую я уже двадцать раз спасал!

Майор принялся тормошить и звать графиню:

— Стефани! Стефани!

Молодая женщина приоткрыла глаза.

— Сударыня, мы спасены!

— Спасены? — повторила она, снова падая.

Лошадей кое-как запрягли. Держа в здоровой руке саблю, майор захватил другой поводья и, вооружившись пистолетами, вскочил на одну из лошадей, гренадер на другую. Старого вестового, у которого оказались отмороженными ноги, бросили поперек кареты в ногах у генерала и графини.

Подгоняемые ударами сабли, лошади бешено помчались по равнине, где новые трудности ожидали майора. Вскоре нельзя было сделать и шагу вперед, не рискуя задавить при этом мужчин, женщин, даже спящих детей; когда гренадер их будил, никто из них не желал шевельнуться. Тщетно г-н де Сюси пытался отыскать дорогу, которую проложил арьергард в этой человеческой гуще; дорога исчезла, как в море след корабля; майор мог подвигаться вперед лишь шагом, поминутно останавливаемый солдатами, грозившими убить его лошадь.

— Хотите выбраться отсюда? — спросил его гренадер.

— Ценою всей моей крови, какою угодно ценою! — отвечал майор.

— Ну, так вперед! Чтобы сделать яичницу, нужно разбить яйца!

И гренадер императорской гвардии погнал лошадей в людскую гущу, покрыл колеса кровью, опрокидывая шалаши и оставляя за собой среди моря голов двойной ряд человеческих трупов. Нужно, впрочем, отдать ему справедливость, он неустанно кричал громовым голосом: «Эй, падаль, берегись!»

— Бедняги! — воскликнул майор.

— Ну вот еще! Не все ли равно, так ли погибнуть, от холода ли или от пушечного ядра! — возразил гренадер, подгоняя лошадей острием своего тесака.

То, что давно уже должно было с ними случиться и от чего до сих пор их спасало лишь чудо, произошло наконец: карета опрокинулась.

— Я так и знал! — воскликнул неунывающий гренадер. — О! Да ведь товарищ-то умер!

— Бедняга Лоран!

— Лоран! Из пятого стрелкового?

— Да.

— Так это был мой двоюродный брат! Ну, наша собачья жизнь не такое уж счастье по нынешним временам, чтобы стоило о ней жалеть!

Поднять карету, выпрячь лошадей — на все это потребовалось много драгоценного времени. Сотрясение было настолько сильным, что молодая графиня проснулась, вышла из оцепенения, высвободилась из укутывавшей ее одежды, встала.

— Где мы, Филипп? — слабым голосом спросила она, оглядываясь.

— В пятистах шагах от моста. Мы переправимся через Березину. По ту сторону реки я уж не стану вас больше мучить, Стефани, дам вам уснуть: мы будем в безопасности и спокойно доберемся до Вильны. Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось узнать, чего стоило спасение вашей жизни.

— Ты ранен?

— Пустяки.

Страшный час настал. С рассветом заговорили пушки. Русские взяли Студянку и засыпали теперь равнину пушечными ядрами; при слабом свете занимающегося утра майор видел, как они зашевелились на возвышенности и стали строиться в колонны. Толпа всколыхнулась в тревожном вопле, все разом вскочили на ноги. Люди инстинктивно почуяли надвигающуюся гибель и хлынули к мосту. Русские, подобно огненному вихрю, ринулись вниз. Мужчины, женщины, дети, кони — все устремились к мосту. Майор и графиня были, к счастью, еще довольно далеко от него.

Генерал Эбле на том берегу поджег сваи моста.

Те, кто бросился к мосту как к последнему средству спасения, несмотря на предупреждения, не хотели вернуться обратно. Людской поток, с такой яростью устремившийся к роковому берегу, тотчас же обрушил в воду перегруженный мост, а вслед за этим скатилась в реку целая лавина рвавшихся к ней людей. Не слышно было ни единого вопля, только глухой звук, точно в воду свалился камень. Березина покрылась трупами.

Те, кто, спасаясь от гибели, яростно попятились назад, на равнину, с такою сокрушительной силой столкнулись с теми, кто еще стремился вперед, что масса народу была задавлена. Графа и графиню де Вандьер уберегла их карета. Лошади, задавив и затоптав множество умирающих, были сами задавлены, смяты мчавшимся на берег людским смерчем. Майор и гренадер, чтобы уцелеть, пустили в ход силу. Они убивали, чтобы не быть убитыми. Среди урагана лиц, прилива и отлива стремящихся в одном направлении тел берег Березины оказался на несколько мгновений опустевшим. Толпа отхлынула на равнину. И если несколько человек бросились с высокого берега в воду, то не потому, что надеялись достигнуть другого берега, олицетворявшего для них Францию, а скорей для того, чтобы уйти от пустынных просторов Сибири. Отчаяние спасло нескольких смельчаков. Какой-то офицер добрался до другого берега, перепрыгивая со льдины на льдину; солдат чудом взобрался на груду трупов и льда. Но огромная толпа поняла в конце концов, что русские не истребят 20 тысяч безоружных, окоченевших, отупевших, даже не сопротивляющихся людей, и с покорностью отчаяния каждый стал ждать своей участи.

Вышло так, что майор, гренадер и старый граф с женой оказались почти в одиночестве в нескольких шагах от того места, где прежде находился мост. Они стояли там все четверо молча, с сухими глазами, среди груды трупов. С ними было несколько уцелевших солдат, несколько офицеров, которые в этот час вновь обрели свою энергию. В этой довольно большой кучке людей было человек пятьдесят. Шагах в двухстах оттуда майор заметил вдруг остатки обрушившегося дня за два перед тем моста для телег и повозок.

— Свяжем плот! — крикнул он.

Не успели прозвучать эти слова, как все устремились к остаткам места. Люди кинулись подбирать железные скрепы, вытаскивать доски, собирать веревки — словом, всякий материал, необходимый для сооружения плота. Человек двадцать вооруженных солдат и офицеров под командой майора образовали стражу, чтобы охранять работающих от отчаянных покушений толпы, когда она догадается об их намерении. Жажда свободы, которая воодушевляет заключенных и вдохновляет их на чудеса, ничто по сравнению с чувством, заставлявшим действовать в этот момент несчастных французов.

— Русские! Русские! — кричала охрана тем, кто сколачивал плот.

Скрипело дерево, плот рос в ширину и в длину. Генералы, полковники, солдаты — все сгибались под тяжестью бревен, железа, канатов, досок; точь-в-точь постройка Ноева ковчега. Сидя подле мужа, графиня наблюдала это зрелище, сожалея о том, что сама ничем не может помочь; впрочем, она помогала связывать канаты. Наконец плот был готов. Сорок человек спустили его на воду, а с десяток солдат держали канаты, необходимые для того, чтобы причалить к берегу. Увидав судно свое на воде, строители с варварским эгоизмом стали прыгать на него прямо с высокого берега. Боясь попасть в эту ожесточенную свалку, майор удержал генерала и Стефани за руки; но, увидав, что плот почернел от людей, столпившихся на нем, точно зрители в партере театра, Филипп затрепетал.

— Дикари! — крикнул он. — Ведь это я подал вам мысль построить плот; я ваш спаситель, а вы не оставили для меня места!

Глухой ропот был ему ответом. Стоявшие на краю плота люди вооружились баграми и уперлись ими в берег, яростно отталкивая дощатое сооружение, чтобы переплыть на ту сторону реки среди трупов и льдин.

— Гром и молния! Я пошвыряю вас всех в воду, если вы не пустите майора и двух его спутников! — крикнул гренадер, выхватывая саблю; несмотря на отчаянные протесты, он не дал отчалить и заставил всех потесниться.

— Я упаду! Я падаю! — кричали его соседи. — Вперед! Отчаливай!

Майор взглянул на свою возлюбленную; глаза его были сухи, она же с ангельской покорностью подняла взор к небу.

— Умереть вместе с тобой! — прошептала она.

Было что-то комическое в положении тех, кто находился на плоту. Как ни яростно они вопили, никто из них не посмел сопротивляться гренадеру: они так были стиснуты, что стоило столкнуть одного, чтобы в воду попадали все. Перед лицом такой опасности какой-то капитан попытался избавиться от гренадера, но тот заметил предательский жест офицера, схватил его и столкнул в воду, приговаривая: «Ага, уточка! Попить захотела!»

— Вот два места! — крикнул он. — Ну-ка, майор, давайте сюда вашу молодку и прыгайте сами! Старикашку бросьте! Он все равно завтра подохнет.

— Скорей! — слились в один вопль десятки голосов.

— Да ну же, майор! Они ворчат — и правы!

Граф де Вандьер сбросил с себя тряпье, в которое был укутан, и стал во весь рост в своем генеральском мундире.

— Спасем графа, — сказал Филипп.

Стефани стиснула руку возлюбленного и припала к нему, отчаянно сжав в своих объятиях.

— Прощай! — воскликнула она.

Они поняли друг друга. Граф де Вандьер обрел силы и присутствие духа, чтобы спрыгнуть на плот, куда за ним последовала Стефани, бросив на Филиппа последний взгляд.

— Майор! Не хотите ли на мое место? Я ведь жизнью не дорожу! — крикнул гренадер. — Нет у меня ни жены, ни матери, ни детей...

— Позаботься о них! — ответил майор, указывая на графа и его жену.

— Не тревожьтесь, буду беречь их как зеницу ока.

От берега, где неподвижно остался стоять Филипп, плот оттолкнули с такой силой, что когда он ударился о противоположный берег, все свалились от толчка. Граф, стоявший с краю, упал в реку. В этот миг проносившаяся мимо льдина оторвала ему голову и далеко отшвырнула ее, точно ядро.

— Эй! Майор! — крикнул гренадер.

— Прощай! — донесся женский голос.

Филипп де Сюси, оледенев от ужаса, упал, сраженный усталостью, холодом и скорбью.

— Моя несчастная племянница лишилась рассудка, — продолжал врач после минутного молчания. — Ах, сударь! — воскликнул он, схватив д'Альбона за руку. — Как жизнь была жестока к этому юному созданию, такому слабому и беспомощному! После ряда невероятных злоключений она оказалась оторванной от этого гренадера-гвардейца, которого звали Флерио; целых два года ее носил за собой поток войск, и она была игрушкой в руках кучи негодяев. Мне рассказывали, что она блуждала босая, оборванная, оставаясь месяцами без присмотра, без пищи; временами ее помещали в какой-нибудь госпиталь, потом, точно животное, прогоняли оттуда. Одному только богу известно, какие бедствия пришлось пережить этой бедняжке. Она находилась в доме для умалишенных в каком-то маленьком немецком городишке, а в это время ее родные, считавшие ее мертвой, делили здесь ее наследство. В 1816 году гренадер Флерио нашел ее в одной страсбургской харчевне, куда она забрела, бежав из тюрьмы. Крестьяне рассказывали ему, что графиня целый месяц прожила в лесу, и они устроили на нее облаву, чтобы захватить ее, но это им не удалось. Я находился тогда в нескольких лье от Страсбурга. Когда до меня дошли слухи об одичавшей девушке, мне захотелось проверить странные факты, давшие пищу для столь необычайных россказней. Что со мною было, когда я узнал графиню! Флерио рассказал мне все, что ему было известно об этих грустных событиях. Я увез беднягу солдата вместе с моей племянницей в Овернь, где, к несчастью, потерял его: он имел какую-то власть над графиней. Ему одному удавалось заставить ее одеться. «Прощай!» — единственное слово, воплотившее для нее весь язык; прежде она произносила его редко. Флерио, пытаясь пробудить в ней разум и потерпев неудачу, добился лишь того, что это грустное слово она стала произносить все чаще и чаще. Гренадер умел развлечь ее, занять ее, играя с ней; и я надеялся, что с его помощью...

Дядя Стефани на минуту умолк.

— Впрочем, она нашла здесь другое существо, с которым у нее установилось как будто бы взаимное понимание. Это придурковатая крестьянка. Несмотря на свое слабоумие и безобразие, она влюбилась в одного каменщика. У нее есть клочок земли, и каменщик собирался на ней жениться. Целый год бедняжка Женевьева была счастливейшим существом на свете. Она наряжалась, а по воскресеньям шла танцевать с Далло. Чувство любви было ей доступно; в ее сердце, в ее сознании нашлось для него место. Но Далло передумал: подвернулась другая девушка, у которой мозги были в порядке, а земли немножко больше, чем у Женевьевы. И Далло бросил Женевьеву. Несчастное создание потеряло последнюю крупицу разума, разбуженную в ней любовью, и теперь она годна лишь на то, чтобы пасти коров да собирать траву. Моя племянница и эта бедная девушка в некотором роде товарищи по несчастью: их как бы связывает невидимыми нитями общность судьбы и чувства, которое обеих довело до безумия. Да вот! Поглядите сами, — продолжал дядя Стефани, подводя маркиза д'Альбона к окну.

Судья увидал прекрасную графиню, сидящую на земле в ногах Женевьевы. Вооружившись большим костяным гребнем, крестьянка старательно расчесывала черные волосы Стефани, а та издавала какие-то радостные звуки, вероятно, от испытываемого ею физического наслаждения. Г-н д'Альбон вздрогнул при виде покорной позы и чисто животной пассивности, говорившей о полном отсутствии разума у графини.

— Филипп! Филипп! Что все пережитое по сравнению с этим! — воскликнул он. — Нет никакой надежды?

Старый врач поднял взоры к небу.

— Прощайте, сударь, — сказал д'Альбон, пожимая старику руку. — Мой друг ждет меня. Вы вскоре с ним увидитесь.

— Значит, это действительно она? — воскликнул де Сюси после первых же слов маркиза д'Альбона. — Ах, а я все еще сомневался! — прибавил он, и из его черных суровых глаз скатилось несколько слезинок.

— Да, это графиня де Вандьер, — отвечал судья.

Полковник вскочил и стал поспешно одеваться.

— Ты что, Филипп, с ума сошел? — воскликнул пораженный судья.

— Но ведь я здоров уже, — ответил ему просто полковник. — При этой новости прекратились все мои боли. Да и о какой болезни может быть речь, когда я думаю о Стефани? Я еду к «Добрым Братьям», чтобы видеть ее, говорить с ней, вылечить ее. Она свободна. Значит, нам должно улыбнуться счастье, если есть провидение! Неужели ты думаешь, что эта бедная женщина может слышать меня и не обрести рассудка?

— Но ведь она уже видела тебя и не узнала, — мягко возразил судья, заметив, какие восторженные надежды обуревают его друга, и стараясь зародить в его душе спасительное сомнение.

Полковник вздрогнул, потом сделал недоверчивый жест и улыбнулся. Никто не решился помешать ему действовать так, как он этого хотел. И через несколько часов он был уже в старом аббатстве, у врача и графини де Вандьер.

— Где она? — воскликнул он, приехав.

— Тсс! Она спит... — отвечал ему дядя Стефани. — Вот она, глядите!

Филипп увидел несчастную безумную; она прикорнула на скамейке на самом солнцепеке. Густой лес рассыпавшихся по лицу спутанных волос защищал ее голову от палящих лучей солнца; грациозно свисавшие руки почти касались земли; в позе ее было изящество лани; в согнутых ногах не чувствовалось ни малейшей напряженности; грудь равномерно вздымалась; кожа, цвет ее лица отличались той фарфоровой белизной, той прозрачностью, которая так пленяет нас в детских личиках. Подле нее сидела Женевьева; она держала в руке ветку, которую Стефани отломила, вероятно, с самой верхушки тополя; дурочка легонько помахивала этой веткой над спящей подругой, отгоняя мух и навевая прохладу. Крестьянка взглянула на г-на Фанжа и на полковника, потом, как животное, узнавшее своего хозяина, медленно повернула голову к графине и продолжала охранять ее сон, не проявив ни малейшего признака удивления или осмысленности. Был палящий зной. Каменная скамья словно искрилась на солнце, и над лужайкой поднимались к небу шаловливые легкие испарения, которые, подобно золотой пыли, сверкают и вьются в знойный день над травой. Но Женевьева, казалось, не замечала убийственной жары.

Полковник судорожно сжал руки врача. На глазах у него выступили слезы, они катились по его мужественному лицу и орошали траву у ног Стефани.

— Вот уж два года, сударь, — сказал ее дядя, — как мое сердце каждый день обливается кровью. Вскоре вы сами станете таким же, как я. Но если иссякли слезы, это еще не значит, что горе притупилось.

— Вы все это время о ней заботились, — сказал полковник, и в его взгляде наряду с благодарностью промелькнула зависть.

Они поняли друг друга и снова обменялись крепким рукопожатием, любуясь чудесным покоем погруженного в сон очаровательного существа. Время от времени Стефани вздыхала, и этот вздох, казавшийся проявлением чувства, заставлял трепетать от радости несчастного полковника.

— Увы! Не обольщайте себя надеждой, сударь! — мягко сказал ему г-н Фанжа, — вам кажется сейчас, что она в полном рассудке.

Кто часами любовался сном горячо любимого существа, кому предназначалась улыбка его глаз при пробуждении, те поймут, вероятно, жестокое и сладостное чувство, волновавшее полковника. Сон Стефани дарил его обманчивой надеждой; пробуждение должно было стать смертью, ужаснейшей из смертей. Вдруг у скамьи в несколько прыжков очутился маленький козленок и обнюхал разбуженную шорохом Стефани; она легко вскочила на ноги, не вспугнув при этом боязливого козленка. Но заметив Филиппа, она бросилась в сопровождении своего четвероногого друга к кустам бузины, издав при этом тот пронзительный крик — крик испуганной птицы, который полковник слыхал уже однажды, когда графиня промелькнула впервые перед г-ном д'Альбоном. Потом она взобралась на ракиту, устроилась в ее зеленой шапке, с интересом самого любопытного из лесных соловьев разглядывая «чужого».

— Прощай! Прощай, прощай! — произнесла она без малейшего выражения.

То была безмятежность птички, распевающей свою песенку.

— Она не узнает меня! — воскликнул полковник с отчаянием. — Стефани! Ведь я Филипп! Твой Филипп, Филипп!

Несчастный воин направился к ракитнику; но когда он был в трех шагах от дерева, графиня поглядела на него, точно поддразнивая, — в глазах у нее, правда, промелькнуло при этом какое-то подобие испуга, — потом одним прыжком перескочила с ракиты на акацию, а оттуда на пихту, где, раскачиваясь с необычайной легкостью, стала перепрыгивать с ветки на ветку.

— Не преследуйте ее, — предупредил полковника г-н Фанжа, — вы только внушите ей недоверие. Я научу вас, как приучить ее к себе. Садитесь на эту скамью; если вы перестанете обращать на нее внимание, она вскоре начнет к вам подкрадываться, чтобы рассмотреть вас получше.

— Она не узнала меня, убежала от меня! — твердил полковник, опустившись на скамью и прислонясь спиной к дереву, которое укрывало эту скамью в своей тени; голова его низко опустилась на грудь. Врач молчал. Вскоре графиня начала осторожно спускаться с вершины пихты, прыгая, точно блуждающий огонек, с ветки на ветку и раскачиваясь вместе с деревом под порывами ветра. На каждой ветке она задерживалась, поглядывая на чужого; убедившись в его полной неподвижности, она спрыгнула наконец на траву и осторожными шажками стала приближаться к нему по лужайке. Когда она прислонилась к дереву в десяти шагах от скамьи, г-н Фанжа шепнул полковнику:

— Достаньте из моего правого кармана несколько кусочков сахара и поманите ее, она подойдет к вам; я охотно откажусь для вас от удовольствия кормить ее лакомствами. Она ужасно любит сахар, и с его помощью вы ее приучите подходить к вам, узнавать вас.

— Когда она была женщиной, она совсем не любила сластей, — с грустью заметил Филипп.

Держа между большим и указательным пальцем кусочек сахара, полковник повертел его перед Стефани, и она, испустив свой пронзительный возглас, устремилась к нему. Но снова остановилась под действием инстинктивного страха, который он внушал ей. Она то поглядывала на сахар, то отворачивала голову, как несчастный пес, которому хозяин не позволяет притронуться к еде, пока не будет названа одна из последних, произнесенных с нарочитой медлительностью, букв алфавита. В конце концов страсть к лакомству пересилила страх, Стефани бросилась к Филиппу, боязливо протянув свою прекрасную загорелую руку, чтобы схватить добычу, коснулась пальцев своего возлюбленного, вырвала сахар и скрылась среди деревьев. Эта ужасная сцена окончательно сразила полковника, он разрыдался и убежал в гостиную.

— Неужели в любви меньше сил, чем в дружбе? — сказал ему г-н Фанжа. — Я не теряю надежды, барон. Моя бедная племянница была раньше в гораздо более плачевном состоянии, чем теперь.

— Не может быть! — воскликнул Филипп.

— Она ходила нагой, — отвечал врач.

Полковник побледнел и с ужасом отшатнулся; его бледность показалась врачу подозрительной; он подошел к Филиппу, чтобы пощупать пульс, и, обнаружив у него жестокую лихорадку, заставил его лечь в постель и дал ему небольшую дозу опиума, чтобы вызвать благодетельный сон.

Прошло около недели; за это время барон де Сюси нередко переживал приступы смертельного отчаяния; вскоре у него не стало больше слез. Душа его была потрясена; не имея сил привыкнуть к зрелищу безумия графини, он примирился, так сказать, с этим ужасным положением вещей и обрел кое-какое утешение в своем горе. Самоотверженность его не знала границ. Он нашел в себе мужество приручить Стефани при помощи лакомств; он с такой обдуманной заботливостью давал ей эти сласти, так хорошо умел закрепить те скромные победы, которые достигал над инстинктом своей возлюбленной — последним проблеском разума, — что ему удалось сделать ее более *ручной*, чем прежде. Каждое утро полковник спускался в парк, и если он, несмотря на долгие поиски, не находил графини ни на дереве, на ветвях которого она могла покачиваться, ни в каком-либо уголке, куда она могла забиться, чтобы поиграть с птицей, ни на какой-нибудь крыше, он принимался насвистывать популярную когда-то арию «Как в Сирию собрался» — с ней было связано воспоминание об одном из эпизодов их любви. И Стефани тотчас же прибегала с легкостью молодой серны. Она так привыкла к полковнику, что больше не боялась его; вскоре она уже усаживалась к нему на колени и обнимала его своей тонкой беспокойной рукой. В этой столь милой сердцу любовников позе полковник давал лакомке-графине немного сластей. Съевши их, Стефани обыскивала нередко карманы своего возлюбленного механически-проворными, точно у обезьяны, движениями. Убедившись в том, что ничего больше нет, она поглядывала на Филиппа ясным взором, в котором не было ни благодарности, ни мысли; затем она принималась с ним играть, пыталась стащить с него сапог, чтобы рассмотреть его ногу, рвала его перчатки, надевала шляпу; зато позволяла ему погладить свои волосы, обнять ее и равнодушно принимала его горячие поцелуи; она молча глядела на него, когда он плакал. Она хорошо различала «Как в Сирию собрался», но заставить ее произнести ее собственное имя — Стефани — ему не удавалось. В этих бесплодных попытках Филиппа поддерживала никогда не оставлявшая его надежда.

Если ясным осенним утром он заставал графиню спокойно сидящей на скамье под пожелтевшим тополем, несчастный любовник ложился у ее ног и глядел ей в глаза, надеясь обнаружить в ее взоре хоть малейший признак рассудка. Иногда он обманывал себя, и ему казалось, что ее неподвижный, остановившийся взгляд оживает, смягчается, становится вновь выразительным. Он вскрикивал: «Стефани! Стефани! Ты слышишь, видишь меня?» Но для нее это было просто звуком, таким же, как шум ветра в деревьях, как мычание коровы, на спину которой она взбиралась; и полковник в отчаянии, вечно обновляющемся отчаянии, ломал себе руки. Время шло, и все эти тщетные попытки лишь увеличивали его страдания. Однажды ясным вечером в тишине и спокойствии этого затерянного среди полей уголка г-н Фанжа издали увидел, как барон заряжает пистолет. Старый врач понял, что Филипп утратил всякую надежду; он почувствовал, как вся его кровь прилила к сердцу, и если справился с охватившей его дурнотой, то потому лишь, что предпочитал видеть свою племянницу хоть и безумной, но живой, а не мертвой. Он бросился к Филиппу.

— Что вы делаете? — спросил он.

— Тот для меня, — отвечал полковник, указывая ему на лежащий на скамье заряженный пистолет, — а вот этот для нее, — добавил он, продолжая забивать пыж в оружие, которое держал в руках.

Лежа на земле, графиня играла пулями.

— Разве вы не знаете, — холодным тоном сказал врач, стараясь скрыть свой ужас, — что сегодня ночью во сне она позвала «Филипп»?

— Она позвала меня! — воскликнул барон, выронив пистолет; Стефани подняла оружие, но он вырвал его у нее из рук, схватил другой пистолет, который лежал на скамье, и убежал.

— Бедная крошка! — сказал врач, радуясь тому, что хитрость его удалась. Он прижал безумную к своей груди и прибавил: — Этот эгоист убил бы тебя! Он хочет умертвить тебя, потому что страдает. Он не умеет любить тебя ради тебя, дитя мое! Но мы простим ему, не правда ли? Он безумец, тогда как ты только помешанная. Один лишь господь властен призвать тебя к себе. Мы, глупцы, считаем тебя несчастной, потому что ты не разделяешь с нами наших горестей. Но ты счастлива: ничто не заботит тебя, ты живешь, как птичка, как лань, — сказал он, посадив ее к себе на колени.

Она бросилась к прыгавшему неподалеку молодому дрозду, с торжествующим криком схватила его, задушила, поглядела на его тельце и, бросив к подножию дерева, сейчас же о нем позабыла.

Назавтра, едва рассвело, полковник спустился в сад, разыскивая Стефани: он поверил в возможность счастья. Не находя ее, он засвистал. Когда его возлюбленная явилась, он взял ее под руку. В первый раз они шли вдвоем по аллее под сводами осенних ветвей, с которых при дуновении утреннего ветра облетала листва. Полковник сел, Стефани сама взобралась к нему на колени. Филипп затрепетал от радости.

— Любовь моя, — сказал он, с жаром целуя ей руки, — ведь это я, Филипп!

Она взглянула на него с любопытством.

— Приди ко мне! — продолжал он, сжимая ее в своих объятиях. — Чувствуешь ли ты, как бьется мое сердце? Оно билось всегда для тебя лишь одной. Я все так же люблю тебя. Филипп не умер, он здесь, и ты сидишь у него на коленях. Ты — моя Стефани, а я — твой Филипп!

— Прощай! — сказала она. — Прощай!

Полковник затрепетал; ему показалось, что его восторженность передалась его возлюбленной. Исторгнутый надеждой вопль его души — последний порыв неумирающей любви, безумной страсти — вернул рассудок его возлюбленной!

— О Стефани! Мы будем счастливы!

Она удовлетворенно вскрикнула, и в глазах ее промелькнуло что-то разумное.

— Она узнает меня! Стефани!..

Полковник почувствовал, как ширится в его груди сердце, как увлажняются глаза. Но вдруг он заметил, что графиня показывает ему кусочек сахара, который ей удалось найти в его карманах, пока он говорил. Он, значит, принял за человеческую мысль степень разумности, не превышавшую сообразительность обезьяны? Филипп лишился чувств. Г-н Фанжа застал графиню на коленях у потерявшего сознание полковника. Она грызла сахар и выражала свое удовольствие такими ужимками, которые были бы признаны очаровательными, если бы в те дни, когда она была в полном рассудке, она вздумала подражать своему попугаю или кошке.

— Ах, друг мой! — воскликнул Филипп, приходя в себя. — Я ежедневно, ежечасно терплю смертные муки! Любовь моя слишком сильна! Я бы все перенес, если бы она в своем безумии сохранила хоть немного женственности. Но видеть всегда, как она одичала, как утратила совершенно даже чувство стыда, видеть ее...

— Вам, значит, хочется такого безумия, как его представляют в театре? — язвительно сказал врач. — И на ваше чувство любви влияют предрассудки? Как, сударь! Я ради вас лишил себя грустной радости кормить свою племянницу, уступил вам удовольствие играть с ней, оставил для себя лишь самые тягостные заботы. В то время как вы спали, я бодрствовал, охраняя ее, я... Нет, сударь, оставьте ее. Покиньте этот уединенный и грустный приют. Я научился жить подле этой дорогой мне крошки: я научился понимать ее безумие, подмечать ее жесты, постигать ее тайны. Когда-нибудь вы еще будете меня благодарить.

Полковник покинул обитель «Добрых Братьев» и возвратился туда один только раз. Врач был в отчаянии, что так подействовал на своего гостя, которого успел уже полюбить почти не меньше, чем свою племянницу. Если кто-нибудь из двух любовников заслуживал жалости, то, несомненно, Филипп. Разве не он один нес на своих плечах бремя невероятных страданий? Врач навел справки о полковнике и узнал, что несчастный Филипп уединился в своем поместье неподалеку от Сен-Жермена. Уверовав в мечту, барон составил целый план, как вернуть графине рассудок. И тайком от врача он посвятил остаток осени подготовке к этому необычайно сложному опыту.

В его парке протекала маленькая речка; она образовывала обширное болото, напоминавшее то, которое тянулось вдоль правого берега Березины. Расположенная на холме деревня Сату служила таким же фоном для сцены, где должны были быть воспроизведены эти трагические события, как и Студянка, замыкавшая долину Березины. Полковник нанял рабочих, чтобы вырыть канал, изображавший роковую реку, где нашли свою гибель слава и гордость Франции — Наполеон и его армия. Филиппу удалось восстановить по памяти в своем парке берег, с которого генерал Эбле перекинул когда-то мост на другую сторону. Он забил сваи и поджег их, чтобы они походили на почерневшие и обуглившиеся столбы, которые возвестили когда-то отставшим солдатам, что путь во Францию для них отрезан. Полковник приказал снести на берег обломки, похожие на те, которыми воспользовались его товарищи по несчастью для сооружения плота. Он опустошил свой парк, чтобы довершить иллюзию, на которую возлагал свои последние надежды. Он заказал военные мундиры и другие одеяния — все это должно было иметь поношенный и растерзанный вид, чтобы нарядить в них несколько сот крестьян. Он выстроил хижины, разбил бивуаки, установил батареи — и поджег все это. Словом, он ничего не забыл, чтобы восстановить ужаснейшую из сцен, и он достиг своей цели.

В первых числах декабря, когда земля оделась плотным снежным покровом, он узнал Березину. Эта поддельная Россия отличалась такой ужасающей реальностью, что несколько его товарищей по оружию признали в ней место своих былых злоключений. Цель этой трагической инсценировки г-н де Сюси сохранял в тайне; в нескольких парижских кружках о ней говорили как о какой-то сумасшедшей затее.

В начале января 1820 года полковник сел в карету, напоминавшую ту, в которой г-н и г-жа де Вандьер приехали когда-то из Москвы в Студянку, и отправился в Иль-Аданский лес. Его везли лошади, похожие на угнанных когда-то с русских аванпостов. На нем была странная и грязная одежда, он был так же причесан и при том же оружии, что и 29 ноября 1812 года. Он отрастил даже бороду и волосы и не брился, чтобы не нарушать ничем трагического сходства.

— Я угадываю ваши намерения, — воскликнул г-н Фанжа, увидев выходящего из кареты полковника. — Но если вы хотите, чтобы ваш план удался, не показывайтесь ей в этой карете. Сегодня вечером я дам племяннице немного опиума. Когда она уснет, мы оденем ее так же, как она была одета в Студянке, и отнесем в карету. Я последую за вами в рыдване.

Около двух часов ночи графиню отнесли в карету, положили на сиденье и укутали грубым одеялом. Несколько человек крестьян освещали это странное похищение. Вдруг в ночной тишине раздался пронзительный вопль. Обернувшись, Филипп и врач увидели Женевьеву, которая выскочила из каморки, где спала.

— Прощай! Прощай! Все кончено, прощай! — кричала она, горько рыдая.

— Да что с тобой, Женевьева? — спросил ее г-н Фанжа.

Женевьева с отчаянием помотала головой, воздела руки к небу, посмотрела на карету, протяжно взвыла, обнаружив явные признаки глубочайшего ужаса, потом молча вернулась в дом.

— Счастливое предзнаменование! — воскликнул полковник. — Девушка жалеет о том, что лишается товарища по несчастью. Она чует, должно быть, что к Стефани вернется рассудок.

— Дай бог, — сказал г-н Фанжа, очень взволнованный, казалось, этим происшествием.

С тех пор, как он занялся изучением душевных болезней, ему несколько раз приходилось наталкиваться на случаи пророческого дара и способности к ясновидению среди безумных — свойств, присущих, по уверению некоторых путешественников, также и дикарям.

Стефани, как и хотел полковник, пересекла эту искусно созданную копию долины Березины около девяти часов утра и была разбужена грохотом орудийного снаряда, разорвавшегося в ста шагах от места действия. Выстрел служил сигналом. Несколько сот крестьян издали разом страшный вопль, подобный тому крику отчаяния, который долетел до русских и ужаснул их, когда двадцать тысяч французских солдат увидели, что обрекли себя по собственной вине на рабство и смерть.

Услышав этот вопль и пушечную пальбу, графиня выскочила из кареты и в безумном ужасе помчалась по снежной равнине, увидела сожженные бивуаки и роковой плот, который сталкивали в замерзшую Березину. Тут же был и майор Филипп; он, размахивая саблей, прокладывал путь через толпу. У г-жи де Вандьер вырвался крик, от которого у всех присутствовавших заледенела в жилах кровь, и она бросилась к трепещущему от волнения полковнику. Напряженно, словно пытаясь собраться с мыслями, она окинула бессознательным еще взглядом представшую перед ней странную картину. Короткий, как вспышка молнии, миг глаза ее сохраняли еще ту лишенную всякой осмысленности ясность, которую мы наблюдаем в блестящих глазах птицы; потом, как человек, обуреваемый мыслями, она провела рукой по лбу, вгляделась в это ожившее воспоминание, в это воскресшее перед ней прошлое, повернула голову к Филиппу и узнала его.

Жуткое молчание нависло над толпой. Полковник задыхался, не решаясь произнести ни звука, врач плакал. Прекрасное лицо Стефани слегка порозовело; но, разгораясь постепенно, румянец стал ослепительно ярким, точно у цветущей молодой девушки. Щеки ее заалели. Жизнь, счастье, одухотворенность словно пламенем пожара охватили все ее существо.

Судорожная дрожь пробежала с ног до головы по ее телу. Потом эти разом происшедшие перемены как бы приобрели одно связующее звено, и в глазах Стефани, точно небесный луч, вспыхнул огонь сознания.

Она жила, она мыслила! Она содрогнулась — от ужаса, быть может. Сам бог отверз вторично эти онемевшие уста и вновь зажег огонь в угасшей душе. Человеческая воля электрическим током пробежала по телу, давно ею покинутому, и оживила его.

— Стефани! — крикнул полковник.

— О Филипп! Это ты! — воскликнула бедная графиня.

Она бросилась в трепетно раскрытые ей навстречу объятия полковника, и поцелуй двух возлюбленных потряс всех присутствующих. Стефани разрыдалась. Но вдруг ее слезы высохли, она, словно громом пораженная, как труп застыла в неподвижности и прошептала слабеющим голосом: «Прощай, Филипп! Я люблю тебя, прощай!»

— Она мертва! — крикнул полковник, выпуская ее из своих объятий.

Старый врач подхватил безжизненное тело племянницы, пылко, точно юноша, обнял ее, отнес на кучу бревен и сел подле нее. Он глядел на графиню, приложив к ее сердцу свою старческую, ослабевшую, судорожно вздрагивавшую руку. Сердце больше не билось.

— Да, это так! — произнес он, переведя свой взгляд со словно окаменевшего полковника на лицо Стефани, озаренное той лучезарной красотой смерти, тем недолговечным ореолом, который служит для нас, быть может, залогом вечного блаженства. — Она мертва.

— О, эта улыбка! — воскликнул Филипп. — Поглядите, как она улыбается! Это невозможно!

— Она уже холодеет, — отвечал г-н Фанжа.

Господин де Сюси отошел на несколько шагов, чтобы уйти от этого зрелища, потом остановился, засвистал мотив, на который откликалась обычно его возлюбленная; но, видя, что она не приходит, он, шатаясь как пьяный, побрел дальше, все еще продолжая насвистывать и уже не оглядываясь больше назад.

Генерал де Сюси почитался в светском обществе человеком любезнейшим и отменно веселым. Не так давно одна дама говорила ему, что он достоин похвалы за неизменно хорошее расположение духа и ровность характера.

— Ах, сударыня, по вечерам, когда я остаюсь один, я дорого расплачиваюсь за свои шутки.

— Разве вы бываете когда-нибудь один?

— Нет, — с улыбкой отвечал он.

Если бы беспристрастный наблюдатель человеческой природы мог увидеть в этот миг выражение лица барона де Сюси, он содрогнулся бы, вероятно.

— Почему вы не женитесь? — продолжала дама, у которой было несколько воспитывавшихся в пансионе дочерей. — Вы богаты и знатны, обладаете талантами — вас ждет блестящее будущее, все вам улыбается.

— Да, — возразил он, — но есть одна улыбка, которая меня убивает.

На следующий день пораженная дама узнала, что г-н де Сюси ночью застрелился.

В высшем свете это необычайное происшествие вызвало разнообразные толки, каждый пытался его объяснить по-своему, сообразно своим склонностям. Причину этой катастрофы — последнего акта драмы, начавшейся в 1812 году, — видели в картах, любви, честолюбии или тщательно скрываемом распутстве. Только двое — судья и старый врач — знали, что барон де Сюси был одним из тех сильных людей, которых господь наградил злосчастным даром выходить ежедневно победителем из жестоких схваток с неким тайным чудовищем. Но если десница божья хоть на миг оставляет их, они погибли.

*Париж, март 1830 года.*

1. *Князь Фридрих Шварценберг* (1800—1852) —австрийский военачальник. Бальзак был с ним знаком; вместе с ним в 1835 году посетил долину Ваграма, где в 1809 году Наполеон разбил австрийские войска. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Депутат центра.* — Представители центра — доктринеры — во французском парламенте во время Реставрации представляли интересы крупной буржуазии (конституционалисты‑роялисты). [↑](#footnote-ref-2)
3. *...вы беспощадны, как 304 статья Уголовного кодекса.* — 304 статья французского Уголовного кодекса присуждает убийцу к смертной казни. [↑](#footnote-ref-3)
4. *...за одну из воспетых Оссианом дочерей воздуха...* — Оссиан — легендарный шотландский певец, живший, по преданию, в III веке н. э. Под его именем поэт Макферсон в 1762 году издал сборник своих поэтических произведений, написанных в романтическом духе. [↑](#footnote-ref-4)